

Водис Иванов

НА ОТЪЕЗД ЛЮБИМОГО БРАТА

Мы ступили на бетон аэропорта; медленно идем рядом; более не разговариваем. Головокружительное небо, циклопические квадраты летного поля, утренняя дымка. Избегающие слов и прикосновений, мы словно раздеты. Я должен все это запомнить: странную постройку, напоминающую барак — к ней направляются идущие впереди, бесчувственность тела, не то от вчерашней выпивки, не то от бессонной ночи: в пустой квартире провожающие бродили и шептались, — вся ночь в ожидании, тронут за плечо: вставай!

Боже ты мой! Боже ты мой! Вот подмостки жизни! Сафиты ослепли — и ни одной заготовленной реплики. Из похоронного молчания процессии смотрю вокруг. Одни уедут — другие останутся. Что будет делать это небо, камень, цэраль самолетов, когда люди навсегда покинут их!..

Марк всегда элегантен, на ботинках ни единого пятнышка. Как я привык к его лицу, — знаю, каким взглядом он сейчас провожает кособегущую бродячую собаку, какой улыбке друга соответствует вон тот чемодан, в руках короткошейей мадам. В его глазах небо, в прищеминах ноздрей — сырость, я иду в запахе все тех же его сигарет, вчерашних и позавчерашних; в шагах простор, который не у всех одинаков. Мы расстаемся, и никогда больше не встретимся. И все-таки это его праздник, — людям в зеленых фуражках он может с иронией смотреть в лицо.

Идущие впереди уже предъявляют бумаги и оказываются за сетчатой оградой. "Марк, — с ужасом спохватываюсь я, — ты вчера сказал, что не хотел бы уехать, не позволив Марии. Марк, ты просил напомнить. Марк!" И сквозь ассоциацию: у моего друга имя евангелиста, — на меня смотрит незнакомое лицо. Чуть откиннутая назад голова: отступника?

закланного?.. В полузакрытых глазах темнота... Это был взгляд мертвеца.

Я пожимаю ему руку. Затем стискиваю локоть, я хочу перенести свою улыбку на эту бесцветную маску- и чувствую, по законам чудовищной хитрости все ближе подталкиваю его- единственного друга- к таможене, все остальное только скрывает эту задачу. Но Марк все превосходно понимает и тем намешливее, полуспиной удаляясь, отстраняется. Зеленые нетерпеливо ждут, когда он потянется в карман за выездными документами. Марк входит в барак, не обернувшись.

В толпе провожающих горько и сдержанно плачет старая еврейка. Не то Богу боялась не угодить, не то начальственной охране. Я позавидовал ей и присевшей на корточки девушке, спрятавшей лицо между худыми коленями и что-то яростно шептавшей. Я же был- пуст. Однако, с чем-то отказываясь соглашаться и надеясь, что прощание с единственным в моей жизни другом не могло быть таким нелепым, должно быть какое-то продолжение. И этого продолжения я жду у железной сетки.

В толпе незнакомые люди знакомились. Толпа мудрела. Подтянутые, радикально настроенные молодые люди уже куда-то ее вели. Это они установили, что женщин нужно размещать на сумках, чемоданах и рюкзаках, проинформировали, что таможенный досмотр длится часа полтора. Им не возражали, но называли досмотр обыском, другие- шмоном и экс-проприацией. Тут же рассказывали случаи, когда удавалось кое-что провезти. За толпой несколько бородатых мужчин в помятых пиджаках пили водку. И тут я увидел Марию. Все нелепо и неоправдано,- Мария опоздала... Я бросился к ней как будто вместе мы могли что-то исправить.

- Мы где-то встречались,- сказал один галах из свиты Марии, когда я приблизился.- Хотите выпить?

Я отказался. Но меня обступили, передают бутылку, ногтем отмечают на стекле допускаемую дозу и следят пока я делаю большой глоток.

- Вы- маргинальный тип,- говорит мне один.

- Прекрати свой психоанализ,- сказала Мария.

- Ты глуп, Петров.

- "И мерзкий при том", - процитировали за моей спиной.

- Вообще, что нам тут делать! "Прости" сказано, пора уходить.

- Если ты мавр, то- да.

- Но где такси, где деньги!

Я сказал, что могу дать трешку.

Тот, знакомство с кем я не припомнил, мое предложение отверг:

- Деньги есть, - "поиски монеты" - это один из наших ритуалов. Верно, скоты?

- И один из лучших.

- Он делает нас лучше, чем мы есть.

- Он нас заводит слишком далеко.

Я подумал, что привилегии придворного штата Марии заключались в том, чтобы требовать от всех, кто к ней приближался, исполнения некоего церемониала. Отплачивая глоток, я сказал:

- Но не далее аэропорта.

Тот, кто назвал меня маргинальным типом, спросил, не Марка ли Мильмана я провожаю.

- Вот один из немногих настоящих людей. Я это знаю от тех, кто видел его голову в деле.

- Да, да, - киваю я. Водка возвращает мне ясность. И вместе с тем я думаю, что если долго пробыть в этой компании, кого-нибудь захочется шарахнуть.

- Разница, в сущности, одна, одни уезжают, другие остаются.

- Уезжают гении, - последовало уточнение.

- Но мы остаемся. То есть нас остается всегда достаточно много.

- То есть, ты хочешь сказать, что мы бессмертны...

Вся пятерка рассмеялась. Я понял, что между собой они ведут неизвестно когда начатую игру и сейчас она закончилась хорошим результатом.

- Хотите закусить?

Это сказала Мария-божья мать клана болтунов. Она

восседает на рюкзаке и держит на коленях большой желтый портфель раскрытым. Несколько мгновений я проблуждал в небесной эмали ее глаз.— Доставайте, там есть хлеб и ветчина. Ищите.

Наклонился— и будто вошел внутрь картины бархатного Тициана.

— Мария, кого ты провожаешь? Марка?? — Я сказал тебе, потому что почувствовал, что на "вы", которое она предложила, нам все равно не удержаться.— Марк говорил, что не хотел бы уехать, не попрощавшись с тобой. Или, просто, остались какие-то счета?

— Не болтай. Какие счета! Мне жаль его. Я не уверена, что он должен был все бросить. Впрочем, не знаю. Мы расстались с ним слишком давно. Тебе это известно. Что его там ждет? Если бы решил уехать ты, это было бы легко понять мне душно и тоскливо. Я бы сидел и слушал, почему Марии легче было бы понять, если бы на месте Марка оказался я. В самом деле, иногда хочется, чтобы тебе говорили о тебе.

— Ты, конечно, не при чем. Уезжает все-таки Марк. Но зачем?! Впрочем, многое могло произойти за эти три года.

— Будешь слушать, тогда расскажу.— Я делаю паузу. Я должен убедиться в том, что могу создать Марию по памяти. Я не умею говорить в пустоту. И не люблю в прошлом отыскивать ошибки, как и просить прощение. Мария поднимается. Она понимает, что для посторонних слушателей я говорить не стану.

— Мария, все мы выходим из дома. Не все ли равно, за чем. И так, человек вышел из дома и его остались ждать— жена? мать?— не важно. Важно, пожалуй, что он мужчина, а ждать осталась женщина. Ты спросишь, любили ли они друг друга?— ответ, Мария, такой: он знал, что ушел р а д и дома, ей тоже это известно. Вот и все. Любовь или нет, страсть или интеллектуальная блажь— такие вопросы не касаются существа дела. Мужчина вышел из дома таким, каким он был. Женщина осталась ждать такой, какой была. Они связаны. Он должен вернуться в дом, исполнив то, ради чего его покинул, она— дожидаться, ибо какой смысл тогда возвращаться... Мне кажется, "Свеча горела на столе, свеча горела".

об этом.

- Неправдоподобно, но продолжай,- сказала Мария.

- Я подчеркну правдоподобные моменты. Но они будут немного позже. Конечно, можно было бы начать так: "Стояло прекрасное утро юности, когда он вышел за порог дома. Его сердце было полно надежды, а голова - прекрасными проектами..." и т.д. и т.п. И потом: "Он не сомневался в том, что не успеет солнце коснуться горизонта, он вернется победителем, и руки любимой обнимут его" и т.д. и т.п. Это более похоже на правду, ты не находишь? Но когда наступили сумерки, его дом был еще далеко. И не потому, что он заблудился, как часто думают, а потому, что проекты не были исполнены и его руки были пусты, а он не хотел возвращаться не достигнув цели.

Некоторые женщины лучше мужчин знают их предназначение. По вечерам они стоят на пороге дома и не успев муж с пустыми руками и виноватым лицом появиться на улице, они начинают его поносить последними словами - так, чтобы слышали все: "Бездельник, трус, конформист! Какая я дура, что связалась с таким некудышником и бабой!" Некоторые женщины лучше знают свое собственное предназначение: они калят мужчин, потерпевших поражение, - этих больших и бес- сильных детей.

Здесь я остановился. Мария, вижу, улыбается. И я продолжаю:

- Я уже сказал, что мужчина, о котором идет речь, в этот вечер не вернулся. Он решил идти до конца и вернуться домой не иначе, как победителем. Одним словом, он прекрасно знал свое предназначение. Не важно, где провел он эту ночь - на скамейке вокзала или в дороге, а может быть у костра с человеком, который тоже не хотел возвращаться ни с чем, и который, возможно, станет его товарищем.

- Твоя история обещает быть красивой,- сказала Мария

- Отнюдь нет,- говорю я.- Я заранее учел этот недопустимый, на мой взгляд, дефект. Однако, настаиваю на том что человек, о котором рассказываю, действительно не вернулся в тот вечер, а на следующий день он ушел еще дальше.

На длинных дорогах, когда счет ведется уже не на дни, мужчины иногда до безумия хочется пережить иллюзию возвращения. Это слабость? — не знаю, но во всяком случае, он все-таки что-то теряет, теряет с точки зрения эстетики... Нет, мой герой не идеален.

Можно было бы рассказать так: "Однажды он проходил мимо дома, на пороге которого стояла печальная женщина и смотрела в даль. Она кого-то ждала, как где-то ждали моего героя. И разве он, усталый и запыленный, с тем одиночеством в глазах, которое делает мужчину похожим на бродячего зверя, не напоминал ей того, каким представляла она своего далекого возлюбленного!.. Соответствие не полное. Но, согласись, им есть о чем поговорить. У них, как говорится, есть много общего. Простим им слабость: ему иллюзию возвращения, ей — иллюзию: наконец-то своего возлюбленного она дождалась. Однако, посмотрим, с чем вошел этот мужчина в ее дом. Его руки по-прежнему пусты, но как горячо он говорит о проектах...

Мария продолжает улыбаться, — а я говорю об этих прекрасных замыслах, в которых всегда сохраняются силуэты "прекрасного утра юности", дома и возлюбленной. В них верность подлинному возвращению. И все становится невероятно сложным уже потому, что они могут, каждый может, подозревать другого в том, что тот не до конца поверил в иллюзию. Кто возьмется здесь рассудить, где здесь преданность, где предательство? И он, например, "в темную ненастную ночь тайком покидает новый дом и бежит назад — к своей единственной, и к ней возвращается не только бесплодным, но и грешным.

Мария задумывается — и тогда я начинаю говорить об абсурде, с которым встречается тот, кто настаивает на недостижимом или труднодостижимом.

— Существует черта, переступив которую человек утрачивает всякую надежду на возвращение. Не обязательно видеть в этой черте государственную границу. Она существует и внутри нас, и так же физична, как колючая проволока и караульные собаки. Человек может понять — вернуться он про

сто н е у с п е е т. А если он знает, что зашел, как говорится, слишком далеко, то любое решение на этой черте уже не имеет смысла. Повернуть назад, чтобы умереть по дороге домой, так же бессмысленно, как продолжать свой путь без надежды на возвращение. Ни чем не хуже провести оставшиеся годы на этой черте в размышлении о человеческой бессмысленности. Я не знаю, кто здесь прав, во всяком случае, мне неизвестны доводы, которые по-настоящему способны убедить. По-моему, я ничего не прибавил и никого не приукрасил?

- Ты хочешь сказать, что Марк зашел слишком далеко?

- Да.

- И это призвание подлинного мужчины?

- Ты не согласна? Но тебе хотелось бы знать, что делают те, кто остается дома?

- Я знаю. Но говори.

- В доме ведь тоже понимают, что время для возвращения истекло. И монологи, которые еще произносятся в пустоту, — вот один из них: "Я знала, что ты настоящий мужчина, тебя ничто не может остановить, — ни чума, ни распутица, ни звери дикие, ни оковы..." и так далее, или другой: "Любимый, я все равно буду любить тебя, даже если вернешься с пустым рукавом инвалида..." и так далее, — более ничего не значат. Все приготовления к встрече теперь ни к чему. Я хочу сказать, что с какого-то момента жечь свечи становится бессмысленно. И тот, кто продолжает ждать, не более прав того, кто задувает свечу. Марк решил переступить черту. Он и теперь ~~атказывается~~ не отказывается от своей цели. А потому? Потому, возможно, он будет всю жизнь возвращаться сюда без всякой надежды на возвращение. И Марк с этим согласился.

- Ты рассказал ему это!

Я кивнул. Я не ожидал, что моя байка так может ее взволновать.

- Нам надо, Дмитрий, с тобой поговорить. Эта мысль каждый день приходит мне в голову. Поедем потом к тебе или ко мне? — Мария крепко сжимает мою руку и заглядывает в глаза.

- Может быть, может быть,- говорю я.

Я вижу свое место в схеме, которую сочинил сам. Схема делает все возможности прозрачными, и я могу думать, что выбрать лучший вариант в моих силах. Перебираю эти возможности и смотрю на ленту шоссе, на пустыне поля, заканчивающиеся где-то там в низком дыме пригородных заводов. Не на роковой черте я сейчас, как и Марк. Собственно, мне ясно только то, что любое решение я приму, как свою судьбу. Это не значит, что моя судьба мне нравится. Каково бы ни было мое будущее, я уверен, оно всегда будет хотя бы немного горчить.

- У меня есть знакомый,- сказал я, когда мы снова вернулись к друзьям Марии,- со странной общественной функцией. К нему советуют обращаться, когда кто-нибудь умирает. Он оформляет факт смерти, заказывает похоронные принадлежности, арендует место на кладбище. И прекрасно выглядит на поминках: красивый траурный гость, респектабельный посланец с того света...

- Мы его знаем,- прерывает психоаналитик.

- А я знаю, что высказанные истины запутывают,- сердито говорю я.- Их становится просто больше.

Психоаналитик ожидает продолжения рассказа о посланце с того света, я же перевожу взгляд на барак, который хранит тайны тамженных процедур.

- Черт возьми, мне неизвестно продолжение! Просто есть вещи,- я зло вспыхиваю,- которые другие переживает, как ты сам. С такими людьми просто приятно постоять рядом. И уйду в сторону, отчего-то весь мокрый от пота.

О, Большой Бен! Конечно, это он. Мне неизвестны его тайны, но красивая молодая полнота, священническое спокойствие, от которого исходит благоухание, явно намекает на его миссию. Я киваю ему, ~~изображая~~ ~~возвышающемуся~~ над толпой, и он прекрасно отвечает. Вчера он навестил Марка и тотчас, чтобы исключить возможность подслушивания, удалился с ним на лестничную площадку. Вот как выглядит служитель переправы через реку, из-за которой не возвраща-

ются!

- Вы всюду,- говорю я. Но, по-видимому, даже намеком не стоило обозначать его свободные и опасные обязанности. Незаурядное существо стоит передо мной. Я это понимаю. Чувствую, как мои слова легко входят в поле его внимания, и как прочна и эластична преграда, которая не позволяет приблизиться к тому, что отдалено от всех, непосвященных в святыне святых его веры и дела. Он мог бы помочь мне довести до конца мои мысли, обещающие спокойствие. Но я догадываюсь, что если когда-нибудь с ним разговоримся, то после того, как я обрету спокойствие сам.

- Вы мне нравитесь,- сказал я и отошел к проволочной сетке.

Перед таможей асфальт залит как попало. Из трещин высовывается овечья травка. По мокрому асфальту двигаются странные спаренные насекомые. Они подскакивают, падают на спину и, перевернувшись, начинают все сначала. Некоторые были раздавлены. Меня ужасает тривиальность их бесстыдства.

И я думаю о том, о чем думал уже не раз, что без физической близости в этой стране мораль не существует. Здесь даже мужчины целуются. Поцелуи предусмотрены в партийном этикете и в православном тоже. Марк, Марк, я любил тебя за то, что фамильярность как и у меня вызывала у тебя тошноту.

Где ты, Марк? Я потерял тебя где-то между молитвенно льющей слезы еврейкой и глотком водки, между Марией и насекомыми. Мне хочется всем возражать, потому что я не хочу спутать моего друга с кем-либо. Но в моем сердце, где ты, Марк, должен был бы находиться- отверстие. Так наверно выглядит душевная рана. Да, именно так. Я уже видел их прежде.- несколько штук на картинах Кулакова; черные кратеры на ржаво-грязной поверхности. Но разве я не повторяю в некотором роде Марка, о котором однажды сказал, что он похож на экспериментальный истребитель: в полете сгорает все, кроме самой точки.

Прости, я не упрекаю тебя. Но и называя тебя "расши

рителем вселенной", вряд ли говорю комплименты. Не будь тебя, я бы видел этот мир иначе. В каждом из нас провинциал-во мне, в Марии, в твоём отце /старик Мильман все-таки приехал, его машина делает на шоссе разворот/, — все мы, Марк, соучастники твоей жизни.

Ты мне понравился, когда еще писал стихи, но не стихами. Должен ли я вспоминать вечернюю школу — ленивых от недоеданий учеников! Контрольная по алгебре. Никто к ней не готов. Ты взял швабру и метнул ее в клубок проводов над распределительным щитом. Там пыхнул голубой огонь и наш этаж погрузился в темноту. Потом класс совещался перед каждой контрольной, и большинство решало, лететь ли снова швабре.

О тебе не скажешь словами Плутарха, что в юности ты выказал "величайшую приверженность к порядку и отечественным обычаям." /Как видишь, на всякий случай оглядываюсь по сторонам, я не хочу каким-либо образом опорочить твои юношеские годы/. И все же о тебе можно сказать, что ты знал радости человека, "окруженного почетом за совершенные деяния."

Я принуждаю себя думать о Марке, — так бездарный торгош должен восхвалять свой товар каждому покупателю. Но рана зияет. Разве я не отдаю себе отчет в том, что нет человека, которого бы я ненавидел сильнее, чем тебя, Марк Мильман. О, эта чрезмерность иронической вежливости! Ты равнодушно допускал в каждом потенцию гения и карманного вора. Тебе ничего не стоило поднять человека над всеми, — и не успел он оглядеться Чайльд Гарольдом на этой высоте, ты уже сбрасывал его вниз, — именно так ты выражал свою неприязненность к другим, тебе было важно, чтобы человек сам принимал участие в своем падении.

Недостойное занятие — шарить в коридорах чужой биографии, но биография Марка — это и моя. Щенетильность в нашем случае угрожает лишить нас прошлого. Ты не находишь? Впрочем, на "роковой черте" все допустимо. Мы отравились в странствия из разных домов, но дома наши стояли через улицу.

Я был с Марком, когда непушенный в дом Гали Подорожной- мой друг так ее называл,- он летел улицей в паре яростной речи. Он влюбился- и я с изумлением увидел, какие неправдоподобные страсти способна вызвать заурядная девица с постным кабачковым лицом. Кража крупных сумм, слава поэта и математика, уголовное дело и хитроумный обман- он все был готов привести в действие, чтобы взять приступом кассиршу гастронома. Потом наступило затишье. В школе никак не удавалось с ним заговорить, а дома он почти не бывал. Я ожидал всего, но никак не стоической меланхолии, с которой он стоял, с отчужденностью адепта тайной секты, на переменах. Я еще не знал, что Галя Подорожная сдалась и он раньше меня узнал, что это такое.

Марк был деликатен, когда, наконец, заговорил "об этом". Но вскоре ему надоела полуоткровенность, потому что надоела Галя Подорожная. И на меня хлынул поток скабрёзностей, трезвого анализа чувств и рассказов об ухищрениях, которыми он заставлял несчастную Галю писать выпренные письма "с того света",- как иронизировал мой друг,- и искать с ним встречи. И тогда я его возненавидел. Я задал другу вопрос: "Человек она или нет?"- и продолжал его повторять, потому что Марк каждый день приходил ко мне и требовал, чтобы я выслушивал его объяснения.

Он недоумевал, как можно встать на сторону человека, которого не знаешь. Собственно, он мог ничего мне не рассказывать- и тогда? И тогда я как ни в чем ни бывало, продолжал бы играть с ним в шахматы, ходить в кино и дурачить учителей. Я отвечал, что я не на стороне Гали Подорожной и не на стороне Марка,- я за то, чтобы счастливы были все. Эта теория всеобщего счастья в борьбе с контраргументами Марка уже через несколько дней приобрела удивительно законченный вид.

Помню субботний вечер, мать предупреждает, что меня ожидают. Я захожу в комнату в гордыне неподкупного судьи. Марк со стула улыбается,- наконец, он поверил, что эта история с Галей по-настоящему меня мучает. Марк поднимает

и клятвенно произносит: "Да, она- человек!", а я не могу скрыть слез, от никогда прежде не пережитой сладкой боли правоты.

Он сказал, что готов немедленно идти за мной к Гале Подорожной, просить прощение и хоть завтра зарегистрировать с нею брак. Мы вышли на улицу, — я переполненный радостью победившей идеи, Марк — своей моральной решимостью, и поговорили до начала нового дня: о справедливости, человечности, о Достоевском, эсерах, большевиках, о начальстве и порядке, о неграх, о Сталине, Кирове, / евреях, о родителях, о власти, и о лжи, к которой склонны власть и родители, о вычеркнутых из истории именах, о рабочем классе, о России, о дураках, обывателях, честных людях, и почему-то больше всего о Кирове, как будто его кандидатура выдвигалась на президентский пост. Мы спорили, но нам не нужна была ни точность, ни победа убеждений. С высоты патетической взволнованности мы смотрели на мир, в котором нам было суждено родиться. Это были наши Воробьевы Горы. В несовершенстве мира для нас не было ничего устрашающего, хотя знали, что у нашего разговора не должно быть свидетелей. Мы верили, что несовершенный мир — арена, на которой нам отведено место.

Что касается Гали Подорожной, то оказалось, что с регистрацией придется подождать, поскольку Марку еще не исполнилось восемнадцать лет. А потом Галя была забыта.

После школы я решил идти из принципа на завод, ты, из принципа, — в науку. Это расхождение нас не удручало. Мы гордились своими самостоятельными решениями. Где-то в будущем наши пути должны были непременно встретиться. И там, в этой точке встречи, мне казалось, каким-то образом окажется и Галя Подорожная. Я представлял ее улыбающуюся, в белом летнем платье, — словно на ~~каждой~~ свадебной фотографии. Конечно, она давно все поняла, и простила Марка и меня, который принес законы морали в жертву всеобщему торжеству.

Вот эта точка! Аэропорт. И мне недостает ни фантазии, ни оптимизма представить впереди какую-либо другую.

- Чего здесь встал!

- Что? — переспрашиваю таможенного солдата. Мне показалось, что он о чем-то меня спросил.

- Стойди отсюда, — вот что говорю.

- А, — понял я. Отошел от сетки и встретился глазами с Влием Мосифовичем.

Мы раскланялись. Отец Марка чувствовал себя здесь неловко. Ему, по-видимому, трудно было освоиться среди людей, которых он не знал и которых подозревал в несостоятельности. Я сказал, что мы ожидаем, когда Марк пройдет досмотр. Я сказал "мы", потому что имел в виду Марию. Влий Мосифович с наивным удивлением оглядел толпу: неужели у Марка столько провожающих! Я не стал вносить поправку, вышел на пустые бетонные квадраты. Как ни странно, простор оказался необходимым условием размышлений о Марке.

С расстояния десяти шагов смотрю на отца Марка и на других. Как все красивы! Я не говорю о Марии и о Влии Мосифовиче, — круглая голова, плечи борца позволяют отнести его к породе Давидов, — даже брадатые болтуны с расшлепанными славянскими носами, — расчувствованные на всю жизнь сатиры, и те безупречны в своей законченности. Чем не Рахиль, та бесплотная девица, которая стрешенно подставила лицо бледному солнцу и ожиданию. Я прекрасно знаю, о чем пишут "подкожные поэты". О Рахили, о Самсоне, об играх в тени лесных чащ и о Боге. И почти каждый о Хароне. И не здесь ли, на окраине хмурого города его переправа?

Сейчас я вспоминаю твою речь, которую могу повторить из слова в слово. Немногое помню с такой отчетливостью, как тот час — именно час, потому что лодка была взята на пикат на один час: я сидел на веслах и греб навстречу волнам поднятым речными пароходиками, ты — на корме, в вязанной куртке и со студенческим чемоданчиком у ног. Я еще не сменил армейское обмундирование на гражданское и шурил глаза

как будто передо мной были все те же казахские солнце и пыль. Варвар-иностранец- в чужой стране.

В последние месяцы службы я много размышлял. О Марке, конечно, тоже. Когда наши благие намерения парят свободно, они поразительно логичны, опровергнуть их не удастся. В казармах мне захотелось иметь более правдоподобную версию мира. Старые контраргументы Марка мне в этом деле весьмагодились. Я имею в виду те, которыми он оспаривал мою теорию всеобщего счастья. Разумеется, я гордился своей реалистичностью, в которую я внес однако, наверно, ту же логическую последовательность. Или максимализм. Это, впрочем, одно и то же.

Я сказал Марку, что кое-что понял за то время, пока мы не виделись. Теперь я знаю, кому в этом мире принадлежит все, и какими несложными приемами цели достигаются.- Расчет, воля, сила! Я чувствую в себе силу и сумею занять свое место под солнцем. Мне жаль тех, кто до сих пор доверяет школьным иллюзиям. С меня хватит. Я предлагал Марку что-то вроде союза, при условии согласия с моими постулатами.

- Знаешь,- закончил я,- я не особенно жалею, что пока мне вдавливали в голову армейский керан- "карабин состоит из семи основных частей", другие зарабатывали дипломы. Я сумею их обойти.- Возможно, разговаривая с тобой, я набивал себе цену.

Ты молчал и смотрел в сторону.

- Так вот, какой путь решил ты избрать!- так началась твоя речь,- со сдержанного удивления.- Если не шутишь, тебе не часто придется излагать свое кредо. На этом пути вещи своими именами не называют. Ты забыл добавить к своим постулатам еще два: ложь и притворство. Прими мой вклад в твою теорию.

Я не сразу понял, ты иронизируешь, или соглашаешься со мной. И довольно глупо улыбался. Ты продолжал.

- Ты хочешь немногого. Но сейчас тебе кажется, что ты гигант. Вдумайся в то, что говоришь: "Я был наивен, принимая мечты за действительность, но теперь я знаю,

каков мир на деле". Ты отказался от больших, как говорится, целей, но почему ради этого немногого, ты готов пустить в ход все: силу, расчет и, как ее?— волю. Ты же капитулировал! Я бы понял тебя, если бы в тебе увидел разочарованного человека. Ты же поверил в грязь жизни, в чудеса демагогии и ненаказуемость беспринципности. Ты поверил в силу низости и решил подчинение ей превратить в попутный ветер своей карьеры. И мнишь, что познал все?

Ты прав. Твоя правота в слабости, в неверии в себя. Но почему у тебя такой гордый вид! Ты ведь сдался!

Тебе показалось, что никто не устоит перед людьми действующими согласно приказа, вдохновленными вознаграждениями и фамильярностью начальства. Ты заметил, что отличившиеся живут в особняках, прибывают на службу в собственных машинах. Ты прав, далеко не все проводят время на плацах,— одни пишут диссертации, другие сочиняют солдатские песни, пьют коньяк, провозглашая тосты за то, чтобы мир остался таким, каков он есть. Ты заметил это— и гордишься своим реализмом. Но когда-нибудь ты почувствуешь, как ты страшен.

Ты же знаешь, что есть люди, которые никогда не соглашались с тобой. Да, ты превратишь их в своих врагов, и с тебе подобными сделаешь все, чтобы обречь их на вымирание. Те, которых ты избираешь в образцы, знают больше тебя, по крайней мере то, что "несложные приемы" нуждаются в драпировках, а противнику нельзя давать возможности возражать. Люди —со школьными иллюзиями" должны лежать под надгробным камнем и даже без права на эпитафию.

Ради прежнего хорошего отношения к тебе, я хочу дать тебе совет: побольше помалкивай.

Я был изумлен. Осторожно посматривал по сторонам: в сторону набережных, на парадки, пробегающие свои маршруты без единого пассажира, но точно по расписанию. Кормовая лодка также входила как часть в измышленный тобой спектакль. Я ни черта тебе не верил, ни одному слову! Твой монолог выходил за все мои представления о том, что и как можно сказать. Такое возможно только в театре— вот суть моего изумления. После того, как ты закончил свой монолог и закурил, должны были раздаться аплодисменты.

И если бы я догадался крикнуть тебе "браво", уверен, ты сумел бы это оценить улыбкой щедрой и опустошающей, ибо эта улыбка заставляла быть тебе благодарным.

Мало того, что я тебе не верил, я мог, в конце концов, сознаться, что моя позиция тех, "кому принадлежит все" — была лишь заимствованием твоей темы: Я обратил тебя в идола. В армии, а мне там не на что было положиться, еще немного и я стану швейком или ефрейтором, я пускал в ход твои жесты и интонации, я разучил манеры холодной вежливости и освоил твой прием: защищаясь, никогда не прибегать к общим заявлениям, — ухватиться, пусть за ничтожный промах противника, ухватиться, как самбист ловит запястье соперника, и давить в незащищенном месте до тех пор, пока он не признает себя побежденным.

Я неплохо подражал тебе. Меня побаивались и со мной считались — сержанты и офицеры. И, наконец, назначили хранителем какого-то хлама в подвале казармы. Здесь я вел дневник и спал. Последние месяцы службы — это длинный потный сон. Однако я успел в этом подвале довести твои старые контраргументы до принципиальных выводов. Но ты вернул меня себе.

Бью кулаком по бедру: но где же враги? Опять небо, ботин, кучка людей у изгороди. В мареве круглый купол астрономической обсерватории. Жизнь — это паутина и путаница, пляска пыли в солнечном луче. Смысла нет, и следуешь предзнаменованиям. И эти знаки благоприятствования и противопоказаний иногда читаешь по выражению только одного лица. Все дело в том, что мы не можем послать друг друга на смерть, даже если смерть — плата за абсолютно справедливое дело.

— Простите меня, — говорю Элиэ Мосифовичу, — мне не совсем по себе.

Профессор кивает. Его губы чуть больше принимают участие в речи, чем обычно:

— Трудный поступок... Трудный поступок... Надеюсь, мы сохраним с вами связь... дружбу.

- Конечно. Безусловно. Я в этом уверен.

Иду на край аэродрома и падаю в траву. Еще секунду наблюдаю занятия насекомых, удары сердца- и забылся.

...Что-то делаю. И уясняю что-то серьезное. Здесь люди, и я им сообщаю про обнаруженное. По мере того, как я рассказываю, вижу, как растет их озадаченность и тревога. Меня ведут, как бы передают из рук в руки. Отчетливо: расправляю на столе не то газету, не то карту, не то что-то напоминающее рентгеновский снимок, - смотрите, вот здесь! Встревоженность сгущается и распространяется вокруг. Все тотчас начинают принимать НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ. Никто не смотрит на часы, даже минутная заминка недопустима. За этим слежу я и другие. Постоянно напоминаю, что допущенная нечаянно неточность требует точной корректуры. Сознательно не произношу слово "коэффициент", ибо догадываюсь, что оно само содержит опасную неточность. Нужно внимательно следить и за другими словами. Мое удовлетворение растет, но позволяю себе лишь отметить: о п а с н о с т ь н е п р и б л и ж а е т с я. Понимаю, что все мы суеверны, но об этом нельзя говорить, как не позволительно придавать значение Голосу, который повторяет одну и ту же фразу. Возможно, весь сон- всего лишь одна дрящящая фраза:

ВЫ НИКОГДА НИЧЕГО НЕ УЗНАЕТЕ.

Вскочил на ноги и в панике почти побежал, - неужели ошибка все-таки вкралась в текст: я пропустил выход Марии на летное поле. В честь отъезжающих теперь давался лишь скромный камерный концерт. Лишь небольшая группа продолжала стоять у ограды. Не было далеким отступление от сна, видение: уходящая в небо конструкция, с бездомным во всем ветра в пролетах, а внизу, у подножья кучка людей, делающих тысячу движений в минуту, - твари дрожащие. Пожилой таможенный солдат подобрел, он сказал, что одного нашего уж слишком долго проверяют. Чувствовалось, он перешел на сторону тех, кто болел за благополучный исход обыска.

Я улыбаюсь не только от симпатии к солдату, не только молнии, толщиной в канат, упершейся в далекий холм, не только башне обсерватории, в которой по ночам люди сосредоточенно рассматривают, во что превратило небо несовершенство их телескопа, — да, мы никогда ничего не узнаем, но ничто не мешает нам задавать друг другу вопросы. Вот человеческое право, которого нас никто не может лишить. Познать все — и умереть, такой финал слишком удручающ. Лучше, умирая, задать последний вопрос.

Подхожу к Марии и присаживаюсь на корточки в теплом излучении ее тела.

— Подруга, ты любила Марка?

Она подозревает, что я выпил где-то еще.

— Не надо говорить со мною так.

На ее коленях все тот же желтый портфель: съестная лавка, бар, аптечка, архив. Мария — натурщица. С нее списывают "весну", "молодую мать", "партизанку", "дискоболку", "комсомолку на стройке", я слышал, художественный совет утвердил стенную роспись ресторана, в которой "Девушка на качелях" — это тоже Мария. Обремененная суетой этого мира, который не знает о ней ничего и тем не менее находит для нее все новые употребления, затасканная в студийных этюдах и в помыслах, глупеющих на обнаженной натуре студентов академии, изнывающая в одуряющем тепле рефлекторов, Мария верит в какой-то смысл и в свите быстро стареющих циников, не жалуясь, идет бесконечными коридорами нашего времени, с неувядающими веснушками, которые дарованы лишь аристократической породе в ее полном цветении.

Соглашаюсь с Марией: "Нельзя говорить так". Разве мне не известно, что "нужно внимательно следить за словами". Я задаю вопрос иначе:

— Ты любила Марка?

— Да, одно время да.

— А вашего покорного слугу?

— Да.

— Мария, ты любила нас обоих! И в одно и то же вре-

- Нет. Может быть...- и замолкает. Я знаю, Мария хочет, чтобы я ее понял. Она знает, как легко ее слова могут обидеть, и как легко в отместку ее оскорбить,- за то, что она хочет остаться искренней. И продолжает: "...только не некоторое время". Но я забыл начало фразы. Соглашаюсь. Соглашаюсь с тем, что я, Марк, и кто-то /другой представляется почему-то с тщеславными бакенбардами, впрочем, он не настаивает на бакенбардах и превращается в гладко выбритого мужчину, почему-то в фуражке, увитой листьями Аэрофлота/- все мы- фрагменты этого мира, участники процессии, проходящие мимо дома, на пороге которого стоит Мария.

- Мария,- осторожно говорю я,- я любил тебя.

- Я тебя тоже.

Ее голос уютно разместился в моем. Я не беру ее руку только из чувства меры. Я ничего не понимаю, но у меня нет и вопросов. Чтобы задать новый, я должен еще немного прожить.

Не все уважают прошлое. Этого не скажешь о Марии. Я всегда удивлялся, что она не художница. Возможно, она больше художник, чем все те, кто просит ее позировать. Но она не хочет отделяться набросками. Каждый фрагмент жизни должен быть блестяще завершен. Но если я только деталь в ее жизни, она дорожит ею.

Мария продолжает сидеть на чем-то рюкзаке, я- на бетоне. Нас обступила свита Марии. Оказывается начинается дождь. Перед сетчатым забором осталось всего лишь несколько человек. Среди них Юлий Мосилович. Конечно, он хотел бы чтобы Марк увидел: он здесь. Я его понимаю. Я уверен, что если у Марка будет сын и когда-нибудь сын спросит у Марии об отце, он не услышит пустых фраз: "Он любил со мной говорить об искусстве..." Она скажет:

- Да, твой отец был замечательным человеком. В тридцать лет он мог занять кафедру, а в сорок стать академиком. О нем говорили, что целая отрасль промышленности могла двигаться его идеями. Он любил повторять: "Ученый не должен торопиться брать предмет в руки, тогда наука пре-

вращается в ремесло". "Настоящее открытие— это травма, которая никогда не забывается. Вот поэтому великие ученые привязаны к своим открытиям всю жизнь, даже тогда, когда бунтуют против собственных выводов..."

Сын Марка сможет спрашивать, зная, что Мария точно остановит свой рассказ там, где для других начинается самое главное— они сами.

Это было месяца три назад, когда Марк собирал документы для выезда из страны. Требовалось заявление отца о том, что у него нет к сыну материальных претензий. Марк говорил мне, что отец, по-видимому, откажется такую бумагу подписать, это может отрицательно сказаться на его положении. И попросил меня быть свидетелем его разговора с отцом. "Родителям,— он объяснил,— легко доказывать свою правоту, ссылаясь на преимущество возраста и опыта. Но логика старше и нас, и наших родителей. При разговоре требуй от сторон логичности. Но ни в коем случае не вставай на мою сторону. От тебя не требуется вынесения приговора. Учти: Абрам все-таки родил Исаака."

Я бывал в доме Элия Иосифовича только по редким праздникам, но знал о семействе Марка хорошо и с точки зрения Ветхого Завета, и политэкономии, и Зигмунда Фрейда. Марк приветствовал отца так: "Как дела на почтамте?", поскольку Элий Иосифович, выписывая всю отечественную и зарубежную литературу по узкой области в фармакологии, часто имел неприятности с почтой. Молодая мачеха благоволила пасынку, и у друга не раз возникала бесовская идея поухаживать за ней всерьез— и посмотреть, что из этого выйдет. Это в ответ на ревность отца: "Мой отец— Моисей, но не выдержал земных соблазнов и стал царем Соломоном."

Вот тогда я в последний раз видел Элия Иосифовича. Шутливая интрига началась с прихожей. Марк галантно поцеловал руку мачехи. Вероника Павловна улыбалась и этой улыбкой Марк, по-видимому, метил отцу за то, что тот не Моисей... Но к тому времени, когда отец вышел из кабинета он уже перешел на почтительный тон, однако, интрига в воображении продолжалась: в воздухе висела комедийная ситуа-

ция.

За обедом Юлий Иосифович осведомился об институтских делах Марка. Он, очевидно, считал, что сыну стоит напомнить о "величайшей глупости" — намерении покинуть страну, за которую тот уже поплатился переводом с должности начальника отдела в младшие научные сотрудники.

Марк ответил патетически:

- Катастрофа! Катастрофа! — и спросил Веронику Павловну, какой тип женщины она считает идеальным для брака с предельно серьезным молодым человеком. Вероника Павловна прижала салфетку к губам:

- Вы, Марк Ильевич, просто невозможны.

Марк, — это его чудовищная способность, — из ничего создал за столом положение — и это все почувствовали, — когда его отец остался один, один — с рюмкой вермута в руке, одиноким рядом со своей женой и сыном, оказался одиноким в доме, который создал сам. Мне стало жаль его. Вероника Павловна напрасно пыталась поддержать мужа ласковым взглядом. Юлий Иосифович рассматривал свою тяжелую руку.

- Папа, ты не чувствуешь себя евреем? — с этого начал наступление Марк.

Отец обдумывал вопрос так, как если бы выбирался из-под развалин, — осторожно, не желая без надобности тревожить ненадежные камни. Он не одобрял вопроса.

- Я не чувствую. Но я не знаю, как меня воспринимают другие. Возможно, у некоторых есть дополнительные органы чувств. Но согласись, эта тема — неинтересна. — Юлий Иосифович хотел развить свой ответ до шутки: Я понимаю, если бы этот вопрос задал бы Ефим! — Пауза давала возможность представить дядю Марка и улыбнуться его колоритной внешности: курчавые волосы, приплюснутый нос, оливковые очки, — так евреев изображают на плакатах арабы. — Почему этот вопрос задаешь ты? — Юлий Иосифович напомнил Марку, что его мать была русской.

- И тем не менее, ты — еврей. Ты — профессор, ученый с именем, член разных комиссий, — но еврей, хотя бы потому, извини, что так извилисто отвечаешь на прямой вопрос.

Влий Иосифович скользнул взглядом по моему лицу. Я понял, не будь меня, дальнейший разговор должен был бы повернуть в особое русло. Но Марк предусмотрел этот вариант.

- Меня интересует только одно, - продолжал Марк, - какое самочувствие следует из признания себя евреем. Два умных человека - еврей и русский - могут найти общий язык, на котором они обсудят предрассудки своих народов, но их самочувствие даже при этом разговоре будет далеко не одинаковым. Мне кажется, если еврей признает себя евреем, он признает не только сам факт, от которого никуда не деться, но и свое самочувствие, как свою суверенность. Нужно быть искренним.

Мы перешли в кабинет Влия Иосифовича. Марк с удовольствием смотрел на могучую спину родителя, который, однако, как говорил Марк, предпочитал, чтобы даже легкий чемодан с поезда до такси нес носильщик.

Марк мне говорил, что каждый народ создал об евреях свою легенду: об алчности, беспринципности, революционности, о стремлении к господству, чувственности и т.д. - эти легенды лучше защищали евреев, чем верное занятие. Для евреев и достоинства и пороки - лишь оболочка, - двойная, тройная, сотая. Все, что называют культурой или миссией, духом или судьбой нации, в которой еврей живет, он нарачивает на себя, как капуста новый лист. Когда еврей отстаивает свою партийность или компетентность, он отстаивает их с точки зрения, насколько это его прикрывает и насколько благоприятствует тому, чтобы нарастить на качан новый лист. Но еврей не настолько глупы, чтобы за эту оболочку умирать. В погромные годы они швыряют антисемитам золото или членскую книжку, которые до времени, как лучшее свое достояние, без устали таскали на себе. У еврея можно отобрать имя, звание, лавку, дом, жену, - и все-таки никакая экспроприация не затронет его существа. Он вернется к судьбе своего народа и поразмыслит над своей судьбой, и опять начнет новый исход. Никакой народ не умеет так благоразумно расставаться со своими идолами.

- Марк, - сказал Влий Иосифович, - неужели пропаганда

этих бездельников могла тебя в чем-то убедить. Я могу понять более умных людей, которые стоят за их спиной, им нужны солдаты, инженеры, химики, но позволь заметить: родину не придумывают.

Марк закурил. Отец приоткрыл форточку и опустился было за письменный стол, но обошел его и сел рядом с нами.

- Многочисленны стада твои и богат дом твой...

- Не читал. А дальше?

- Не помню. Прочти как-нибудь сам.

- Ты очень русский.

Марк оценил комментарий отца и замолчал.

- Да,- подтвердил, наконец, он,- я решил признать себя евреем воистину по-русски. Русские имеют удивительную восприимчивость к неудобноносимым одеждам и идеям...

Илий Иосифович явно скучал. Возможно, он думал о том, что бы он делал, не будь этого пустого разговора.

- Твой дед был шорником и продавал тряпье на белоцерковском базаре.

- Когда мне грустно,- сказал Марк,- я не могу утешить себя тем, что не торгую лохмотьями.

- Ты должен думать не только о себе.

- Папа, не я придумал круговую поруку. Но, надеюсь, ты не мнишь, что занимаясь фармакологией, ты способен решить, в частности, и мои проблемы.

- Тебе никто не запрещает заниматься своим делом. Более того, от тебя требуют, чтобы ты только своим делом и занимался.

- Представь, что от моего деда только и требовали, чтобы он торговал тряпьем! Однако, он поехал в Одессу доказывать, что его сын вундеркинд. Я не убеждаю тебя ехать со мной в Одессу, но поверь, я еду "по своим делам".

- Вот и хорошо! Но я не собираюсь быть соучастником дела, которого не одобряю.

Марк рассмеялся, заметив, как социальная круговая порука направляет мысль даже неглупых людей по порочному кругу. Даже родство теряет всякий смысл. Потом он спросил меня, что я думаю по этому поводу.

Я сказал, что когда политические проблемы обсуждаются в семье, то, в действительности, обсуждают приоритет родительского права. Именно это и следует обсудить: чье право авторитетнее — сына или отца, то есть, значение благодарности родителям или значение преданности родителей интересам детей. Поэтому обе стороны, прежде всего, должны взвесить удельную тяжесть этих авторитетов.

— Все-оговорки, — продолжал я, — не стоит принимать во внимание, например, "я благодарен отцу за то, что мне он дал, но..." и т.д., и другие "но", например, "я готов помогать сыну, но..." и т.д.

— Как четко! — воскликнул Марк. — Ужасающая логика. Никаких оговорок, хотя и жестоко. Но ясность сразу, а не по каплям. В этом что-то есть... Папа, я должен признать, что я неблагодарный сын...

— Вон! — поднялся с кресла Элий Иосифович.

Мы молча вышли из квартиры. На лестнице Марк вытащил из портфеля бланк стандартного заявления и попросил меня вернуться и дать отцу расписаться. Я позвонил.

— Что вам от меня нужно!

— Вам нужно расписаться вот здесь.

Элий Иосифович расписался молча.

Когда я думаю о ненависти к Марку, о невыносимости видеть его в некоторые минуты, я имею в виду и эту сцену: "Ужасающая логика! Никаких оговорок...", его удивление и патетику перед чем-то таким, что, якобы, принуждает его к поступкам, которые он сам будто бы никогда не совершил. Разве не он сам готовил сцену, а я — не был ли только актером, который по его же расчету должен выступить на авансцену в определенный момент, чтобы взять на себя неблагодарную роль жестокого закона или неумолимого инструмента! Вот что мучило меня все шесть лет лагерей. Вчера на про водах мы подсчитали, сколько лет мы с ним друзья — оказалось семнадцать, но я не сказал Марку, что все эти годы подозрения о его двуличности не покидали меня.

Никогда не мог думать на эту тему спокойно. И, возможно, не владея собой, я подталкивал Марка в проход сетки

той ограды. Мне хочется думать: так только выглядело. Но разве я не пытался изгнать Марка из своей жизни много раз прежде! — не встречаться, забыть, развенчать до конца. Поверх того, к чему я стремился, рука Марка чертила другое — и моя собственная судьба кажется мне кем-то подсунутой. Если хотите, он человек, который составлял режиссуру драки, но смотрел на нее со стороны. Не странно ли обнаружить после семнадцати лет дружбы, что у нас не было дела, нас соединяющего! Вел он или толкал, просветлял или провоцировал?... неуловимость грани бесит меня.

О, я всегда был готов предоставить тебе алиби за свой счет.

Я тоже видел твою "голову в деле", как выразился сатирик из свиты Марии.

Должен согласиться, я в начале не увидел ничего особенного в том, что где-то на Урале построили старый химический комбинат. Я понемногу приходил в себя после армии. Меня более занимала "Законодательная деятельность Петра 1" тема курсовой работы. "Антинаучная фантастика" отнюдь не затрагивала моего воображения. Ты перечислял: "между разработкой проекта и строительством двадцать лет!" /Ну и что? Я мог представить, что какой-нибудь проект разработан где-то в середине прошлого века, а сейчас его вытащили на божий свет/. "С п е ц и а л ь н о заводам заказывали старое оборудование", "миллиард рублей — кошке под хвост", "можно было бы обеспечить квартирами сто тысяч человек"... "Комбинат не вступил еще в эксплуатацию, а уже нуждается в полной реконструкции"...

Я уже читал примерно о таких же безобразиях в "Правде", — нормально! нормально! — причем примерно в таких же выражениях. Окажись на твоем месте — одним из членов приемочной комиссии — я бы, наверно, возмущался не менее тебя, и, возможно, решился бы занести в акт свое особое мнение. Хотя прекрасно понимаю очевидную дерзость "особого мнения"

которое ничего изменить не может, но повышает бдительность к тому, кто его имеет.

Я не возмущался вместе с тобой, но ты и не собирался представлять несчастный комбинат трещиной в мироздании. "Если мяч подкатился к ногам нужно сыграть честно", — сказал ты. Я согласился, что игру всей команды не исправишь, если будешь бегать за мячом по всему полю. Однако ты, как потом я увидел, в это правило вносил другой смысл.

Два года я наблюдал, как ты катил мяч и набирал "команду". Ты сделал невозможное, если понимать, что возможное определено временем, в котором мы живем. Когда я приходил к тебе, ты открывал папку и показывал мне новый "уникальный", как говорил, документ. Это были письма ученых и производственников, в которых выражалась озабоченность "крупными недостатками" в проектировании и строительстве химических предприятий и выражалась поддержка твоему проекту организации новых отраслей промышленности. Ты считал, что проект со временем мог изменить всю систему организации индустрии. Уникальность писем была в том, что тебе удалось привлечь на свою сторону людей маститых. Ты сказал, что эпитафией к папке могли бы служить слова Гюго: "За благополучие двора отвечают как короли, так и дворники."

Через два года, почему-то помню, это было первое апреля, — ты сказал, что за благополучие двора решили отвечать только короли и показал ответ, полученный из министерства. Завязывая папку, ты улыбался как человек, который поставил решающий эксперимент. Ты был доволен, ибо результат не мог опровергнуть чистоты поставленного опыта. И это меня поразило. Я не верил твоему хорошему настроению, — в доме был покойник, присутствие которого тщательно маскировалось. Ты предложил выпить. Ну вот и поминки! Но я надеялся, что мне удастся убедить тебя, что так дело оставлять нельзя. Ты отправился в магазин, а я, пока ты отсутствовал, успел воодушевиться идеей общего дела. Помнишь, когда ты вернулся, на проигрывателе стоял Вагнер? Я видел тебя, себя и кого-то еще и еще, — в сражении с богами.

Но ты хотел тишины и одинокой беседы. После того, как ты два года гнал мяч по полю, тебе хотелось отойти в сторону. Бутылка коньяка— что ж, с нею легче поразмыслить над иррациональностью человеческих усилий. Я же не соглашался с тем, что эксперимент закончен. Но победить твои философские резиньяции не мог— и остался один с идеей общего дела, с Вагнером и выводом: надо что-то делать.

Я стал избегать встреч с тобой и не знакомил со своими новыми друзьями. У меня появился и новый противник: "скептический объективизм". Возможно, мои друзья недоумевали, почему я так яростно нападаю еще на один "изм". А мне виделся ты, бледный и отрешенный, волнуемый ходом мысли, которая на каждом шагу рискует оказаться в тупике: пальцы сжимают фужер и ослабевают. Потом ты был забыт. Ты потерялся среди тех, кого я называл "рабами существующего положения вещей". И только в лагере я снова вернулся к теме: ты и я, и иначе оценил и эксперимент и твое бегство в философию.

Приятель из свиты Марии тронул меня за рукав. Он сказал, что Мария плачет.

— Вы не попытаете успокоить ее?

Мария, оказалось, ушла к зданию аэропорта. Возле цветника на скамейке сидела одна. Ее друзья в растерянности бродили взад-вперед на почтительном расстоянии.

— Дорогая Мария,— сказал я, опускаясь рядом,— поверь, никто не осмелится заговорить о нашей вине. Наше преступление— что-то такое, о чем лучше было бы помолчать. Обвинения нет, но есть наказание. Каждому из нас предоставляется право найти оправдание этому наказанию. Я знал человека, который сидел по 58-ой, пункт первый, но считал себя наказанным за то, что недостаточно сердечно относился к женщине, которая его любила. Его не смущал тот факт, что семь лет— слишком суровое наказание за душевное несовершенство. К тому времени, когда я с ним познакомился, это был самый деликатнейший человек в мире.

Я не буду приводить другие примеры. Я хочу сказать, что тот, кто не хочет быть наказанным просто так, становится христианином и любое страдание в мире привыкает объяснять человеческой греховностью. В этом что-то есть... Верно, верно? Мое несчастье в том, что я отказался наказание оправдывать и стал обвинителем сам. Человек может стать ходячим досье: все, что он видит и переживает, он когда-нибудь предъявит как обвинительное заключение. Но сейчас я больше всего хотел бы рассмотреть себя и нас, а не тех, против кого я когда-то собирался выступить в черной мантии прокурора.

Мария утихла. Не подтверждая и не отрицая моих слов, молча смотрит перед собой. Она вспомнила, что я уже об этом ей рассказывал. Мария не плачет — и я вижу благодарные взгляды болтунов. Но они не решаются присоединиться к нам. Я начинаю их уважать, потому что догадываюсь: в этом клане беспокоятся друг о друге. Тогда не так уж плохо там, куда ушла Мария! Я жесток к Марку и подозреваю в жестокости друга. Восхитительно приподнятая и неправдоподобно красивая женщина когда-то оказалась между нами.

— Мария, неужели мы с Марком были соперниками! — наконец-то, я точно сформулировал вопрос.

Мария отрицательно качает головой и лицо ее светлеет.

Мы смотрим на посадку самолета и слушаем голос диктора. По расписанию самолет на Вьну должен стартовать через пятнадцать минут. Что с Марком? Почему его держат до сих пор! Мы направляемся к бараку. Я думаю, что идти рядом с такой женщиной — это все-таки большая честь.

Марк еще не знал, что меня освободили, когда на улице попался человек, который стал убеждать меня в том, что Марк меня предал. В "Сайгоне" я выпил кофе с этим странным существом, тщеславным от своей порядочности и жалким от страха, загоняющим его в бдительное исполнение служебных обязанностей. Он продвигается как-то боком между альтернативами, которые, думается, со временем разрешит кто-то за него, скорее всего, женщина, которую заинтере-

сует, что же все-таки можно из него сделать. Собеседник уверял, что все честные люди избегают компании Марка, он не сделал бы блестящей карьеры, если бы все было чисто.

Оказывается, старое дело не было забыто и общественное мнение существует. Я сказал, что Марк не был "в курсе" и предать меня попросту не мог, даже если был на это способен. Попрощавшись с болельщиком моей команды, я почувствовал, что все, кого я уже встречал, накладывают на меня путы: мне вменяли в обязанность харизму величия и моральной незапятнанности носить как почетные вериги. Как заслуженный ветеран, я должен был согласиться с тем, что все, кто меня знал и продолжал жить мирской жизнью, когда я отбывал срок, — подонки. Меня возвеличивали, унижая себя и других. В случае с Марком, вдобавок ко всему, карьера, статьи в журналах, деньги.

Это конечно стереотип, который нетрудно объяснить хотя бы тем, что следователи и судьи нагнетают одну и ту же тему в десятке вариантов: "А вот ваши друзья ведут себя иначе и думают не так." И ты, чтобы обезопасить друзей, сам доказываешь, — да, они думают иначе и не имеют к делу никакого отношения. И сам, стало быть, кладешь первый камень в пьедестал своей исключительности. Ты сам доказываешь отсутствие каких-либо связей с другими, с теми, с кем жил, — думал, дышал одним воздухом, и когда твоя версия приобретает достаточно правдоподобный вид, ты предстаешь перед судом, и предстаешь, как отщепенец. Но Марк это другое, меня не покидало ощущение, что его роль в моей жизни страшнее. Но тем не менее, рефрен: "я должен обо всем рассказать", — наполовину состоял из цели: "я должен рассказать ему". Он должен понять, что химкомбинат не идет ни в какое сравнение с тем, что я увидел. Но, пожалуй, я еще не скоро решился бы встретиться с Марком, если бы не разговор в "Сайгоне". Мне захотелось задать ему вопрос: "Ты знаешь о тех слухах, которые ходят о тебе в городе?" — и взглянуть в лицо.

За стеклом поезда метро увидел его сумрачного, чужого; выскочил из вагона— и потащил за локоть сквозь толчею Гостинного Двора:

— ...Зачем ты на это пошел! Я же проверил! Ты же видел. Два года снизу до верха. Шаг за шагом. Зачем! Разве дело в том, что там не понимают!— понимают, хотят,— но не могут. И это при всей власти, рвении... Сила, гигантская сила, аппарат, умы, трезвые и радикальные, все есть, и не получается,— сила солому ломит. Но солому! Препятствие одно: крепостное право! Крепостное право исчезло в е е г о л и ш ь сто лет назад. Исторически— это вчера. Но шесть лет для тебя больше, чем сто лет для истории. Я был в ужасе. Глупо, глупо... Мы проиграли, еще не родившись. Мы родились слишком рано.

Марк постарел, лоб обнажился, нос стал чутче и острее. Он был в ярости, он не терпел поражений. Почему "мы", медленно думал я. Какого черта он перекладывает мостик между собой и моим "делом"?

Первый стакан вина мы выпили где-то рядом с метро,— пили без тоста. Второй у вокзала. Уже стемнело, когда зашли в пивной бар. Марк выговаривался. Его мысль заключалась в том, что быть в системе— это значит ее репродуцировать, хочет ли этого человек или не хочет. Выйти из нее— значит неминуемо проиграть, хотя проигрывать можно и красиво.

— Эту мысль я вынес из Константина Леонтьева.

"Он, по-видимому, признает,— продвигался я дальше,— мне обязанным за то, что его не тронули."

Неожиданно Марк меня спрашивал:

— Как ты себя чувствуешь?— Это повторялось несколько раз.

— Ничего,— удивлялся я и пожимал плечами.

— Абсурд гораздо глубже, чем на первый взгляд нам кажется, он глобальнее, а если абсурд глобален, где точка отсчета?

Вот эта мысль, как мне показалось, больше всего старела Марка. Я не согласился с ним. Но он уточнил, что не

хочет этим сказать, что в нашей жизни нет смысла. "Жизнь — не средство, а цель." Тогда я заподозрил Марка в том, что он избрал путь человека, который все, что угрожает его благополучию куда старается обойти за три квартала. Он сказал, что не спорит со мной, и, конечно, лучше всего понимает себя, а не других, и о том, что только наука сегодня — крепость. "В ней я сижу, как феодал, и не позволяю входить к себе, предварительно не вытерев ноги." Я спросил его, верно ли, что он защитил кандидатскую диссертацию. "Я сделал больше, больше, чем думают другие". И тогда я догадался, что Марк абсолютно одинок.

Он привык не замечать людей вокруг, только озирался, — как среди противников, но противников слабых. Напивался он с удивлением и с сожалением. Я жалел его, чувствуя, какой дубленой за шесть лет стала моя кожа. В сущности, моя защищенность объяснялась торможением: даже мысль не выдашь себя, пока оно не пройдет контроль векового умысла. То, что приводило мозг Марка в движение, мне не казалось существенным. Марк давно не обращал внимания на то, слушаю я его или нет. Но именно он заметил, что его портфель исчез и пулей выскочил из подвала бара.

Мы увидели портфель у парня, который уже добрался до перекрестка. Потом мы с Марком припомнили какого-то человека в берете, который сопровождал нас из одной питейной в другую. Бедняга, наверно, перепил и дал маху. Драка под светофором. Толпа становится то красной, то зеленой... Марк разбивает похитителю нос и отбирает портфель. На место происшествия прибыли дружинники. Марк шепчет: "Друг, мы не свидетели, а пострадавшие и народные мстители". Мы улетаем во-время, потому что нас начинает разыскивать милиция.

Эпизод был сверхъестественным и смешным. Марк уводит меня с места драки проходными дворами. Мы зашли в подъезд какого-то мрачного дома, поднялись на лифте, прошли темным чердаком, распугивая голубей и кошек, и спустились на другом лифте вниз. Наконец, мы оказались на глухой улочке. Марк снова заговорил об абсурде. Случившимся он был доволен, это был новый довод в подтверждение его мыслей. В его

портфеле случилась книга, которую в отделении милиции он не хотел бы признать своей. В полночь мы добрались до квартир-ки Марка. Я молча пристроил на вешалке свое пальтишко.

"Как ты себя чувствуешь?" - спросил Марк.

Мы допивали остатки марковских вин за черным журналь-ным столиком. Две схваченные увяданьем розы, каменели в си-ней вазе. Пластинка, которую поставил друг, была бесконеч-ной. Невероятно чужое: и очищенные от бытия голоса, и "ин-струменты инфанты", к струнам которых прикасаются, но не прилипают, бежея под ногтями, пальцы, - сквозь весь слой исторического бессилия человека укоризна робкой красоты жизни приходила к нам паденьями капель в туннель колодца. Что-то фантастическое было в этом проникновении, фантастиче-нее, чем те сигналы из пространства звезд.

Шести лет не было, они были свалены в мусорную корзи-ну безжалостного редактора, - вот что я почувствовал впер-вые в гостях у Марка... Я хотел одиночества, собственно, не его ли каждам все эти годы: "Стройся в колонну"... "Вы-ходи на работу"... Что может быть утомительнее бессильного присутствия одного человека подле другого! Борьба не име-ет смысла. За себя - не стоит, а каждого другого страх сде-лает твоим противником. Все дело в силе угроз. За истину можно бороться, если в ней нуждаются, за честь женщины, ес-ли она чувствует, что ее оскорбили... - говорю, но нет ино-го желания, как остаться одному, да, одному с окнами на ка-нал, с тихим журчанием счетчика в коридоре и пластинками старой музыки. На полках я видел книги, которые хотел бы прочесть, и хотел бы лежать и ждать, когда перестану чувст-вовать сбитую вату казенного матраца, в ноздрях - хлорный запах лагерных сортиров.

- Пусть все это пройдет.

Марк поставил на колени аппарат и набрал номер. Мне были слышны длинные гудки. Я не спрашивал, кого он решил разбудить в три часа ночи. Наконец, когда трубку сняли, Марк сказал:

- У меня Дмитрий. Возьми такси.

Когда приехала Мария, я с опозданием заметил: меня в с т р е т и л и! Есть все-откровенный разговор, боль и пирушка. И знал, что должен быть Марку благодарным.

Мы продолжали говорить, а руки Марии ткали уют, который был неправдоподобен. Но кто усомнится, что он действителен! — подавала мне сигареты, добавляла вино, поправила закатанный рукав моей выцветшей рубашки. Потом готовила омлет и кофе, и на кухне всплакнула.

Светало. Мария спала в кресле... Ночевать я не остался.

Какое нелепое занятие идти подобно другим, но знать, что у тебя все изъято: от и до. Я шел по улице обкраденным пьяницей, который не помнил, что пил и с кем. Я был инвалидом, еще не привыкшим к обезобразившему его уродству. Но у себя в камере, лежа на постели под косо падающим светом начавшегося дня, я еще упрямялся. Вот жары, вот дымка испарений над сияющими — и вдруг — истощенный вопль зека, который ложится в мою молчаливую боль, как в свою собственную форму.

Мое тело знает тело гордости. Послушное самоутверждение, оно роняло и мудрело в мерзко-зловонных карцерах. Однажды, после десяти дней голодовки мне стало казаться, что нас с телом освободят тихие монахи. Но однажды на пороге камеры я увидел начальника режима и из прокурорского надзора. Они неправдоподобно извивались в непомерной схватке с опьянением. Они боролись со словами, которые по форме должны были произнести в ответ на мой протест. Их неизменяемость превращала мои страдания в нелепость.

Я понял тогда, что в наш век гордый человек обречен умереть как персонаж комедии. Костер на площади как-никак имитировал сцену Страшного Суда. Гордость стала смешной, когда не стало вечности, а смерть — зрелищем.

Но все же я хотел удержать картины, которые не пленят бы память, если бы в них не концентрировались основные мотивы моей жизни. Чтобы я сожалел о прожитых в неволе

годах- нет,- скупость все-таки черта положительная,- я же чувствовал себя обманутым. Но не в прямом смысле, а как-то предельно глубоко, как потом объяснял: "кто-то пошуровал в моей голове кочергой." Это выражение, должен сказать, слабое.

В то утро, когда я возвращался от Марка домой, я воспринимал себя абсолютно нелепым,- нелепым в этот час и не менее нелепым в будущем. Все, что я мог вообразить: вот я устроился на работу, вот что-то говорю и что-то говорят мне, еду, просто еду трамваем, просто: вытираю полотенцем лицо,- все возбуждало подозрение о соучастии в гадости, и продолжение жизни- не более, чем обмен шутовскими гримасами. Совершенно уверен в том, что если бы в то утро я бы встретил на пути знакомого человека, достаточно было бы одного слова приветствия, чтобы я сошел с ума. Даже щель почтового ящика на дверях квартиры поразила меня своей способностью к угнетению.

Закатанная под подбородок простынь. Прямоугольник огня. Зеленая крыша, обвеваемая ветром.

Я уснул с предчувствием беды. И по-прежнему во сне опасность предстала передо мной неоспоримо существующей.

Марк пришел вечером. Я молча скатал и спрятал в диване постель. Долго мылся, грел чай. Даже, если соглашаешься,- ампутация необходима, в нашей исповеди мы вряд ли сведем хирургу роль своего духовника. Да, и в этот вечер, Марк, я ненавижу тебя. Помнишь, ты устроился на подоконнике и рассказывал о своих делах. Тебя как русского утвердили руководителем новой исследовательской группы, но как еврея не пустили на научную конференцию в Брюсселе. У тебя был план: собрать группу молодых людей, умных и нескучных, год они будут читать литературу, год им будешь объяснять свои идеи, а в это время ты публикуешь статьи в журналах, которые читают "вагоновозатые и маршалы", и отыскиваешь сановника от науки, который бы согласился стать отцом нового направления в коллоидной химии... Ты был невыносим.

Я вижу Марка! Он выходит из таможни. Рядом с ним двое служащих. Хмурясь на крики из ограды, Марк продолжает им что-то говорить. Один из мундиров возвращается в барак. Марк, отделенный полосой чистого бетона, добродушно смотрит в нашу сторону. Вот и хорошо, что он меня не замечает. Я вполне могу пережить и, возможно, уже пережил, роль этого славного человека в моей судьбе. Как редко, должно быть, выпадает случай показать на человека со словами: "Вот от кого зависело, что моя жизнь стала такой, а не какой-либо иной," - видеть своего гения и искуителя в одном лице.

Я люблюсь другом. Так держаться на сцене! Без подпорок высокомерия или самоуничижения. Он удерживает фантастически трудное равновесие между собой и небом, и нами - зрителями, которые гадают, что происходит между ним и таможенной службой.

В тот вечер без всякого видимого повода я ему сказал, возможно для того, чтобы он, наконец, не трепался:

- Марк, ты не знаешь силы зла.

Марк больше не улыбался. Он побледнел и на его глазах блеснули слезы.

Из барака вышел чиновник и отчетливо послышалось:

- Кому из родственников или знакомых вы хотите вещь передать?

Что Марк ответил, слышно не было, скорее всего, он сказал - "кому-нибудь из них". Чиновник подошел к ограде, держа за цепочку медальон. Юлий Мосифович протискался в первый ряд.

- Я его отец, - обратился он к служащему.

Марк уходил, помахав нам рукой. Чиновник сопровождал его к самолету. Марк вдруг обернулся. Теперь расстояние между нами почти удвоилось.

- Папа, - крикнул Марк, - передай это Дмитрию.

Я поднял руку и его глаза, наконец, отыскали меня. Юлий Мосифович протягивал мне медальон. Я сунул его в карман.

На пустом трапе лайнера виднелась нетерпеливая фигурка стюардессы, - отправление самолета уже задержалось на

полчаса. Мария и ее компания двинулись в сторону шоссе. Меня подождали и попросили показать медальон, который по каким-то особым соображениям вывезти запретили. Я вытащил его и вещичка обошла всех. Комментарии были глуны. Когда мы подошли к автобусной остановке, самолет уже выруливал на стартовую дорожку. Автобуса еще не было. Мы стояли на обочине шоссе и постепенно здесь собрались все. Самолет "Ленинград-Вена" начал свой разбег. Все замолчали. За фюзеляжами, готовящихся к рейсу самолетов, промчался, как плавник акулы, хвостовой киль эмигрантского корабля. Мы его еще увидим, когда лайнер станет ложиться на курс.

Оказывается, Юлий Иосифович нашел такси. Он отыскал меня и предложил подвезти. Я отказался:

- Спасибо, я не один,- и показал на Марию и ее друзей

В конце концов, я, Мария и незнакомый мужчина,- он сказал, что преступно опаздывает на работу,- оказались в такси.

Сейчас мне начинает казаться, что наше прощание с Марком началось в тот вечер, который я только припомнил. Тогда произошло странное. Марк молча посмотрел мне в лицо, потом на мгновение отвлекся и вдруг обнял. Мы коснулись друг друга щеками. Я ничего не понимал. Марк сказал "прости" и быстро вышел. Я увидел его в окно, он так и не наде берет, нес его в руке. Я помахал ему, но он не мог меня заметить.

Юлий Иосифович сказал, что приглашает нас на завтрак, но, к сожалению, к одиннадцати часам он должен быть в институте. Мы с Марией отказались и попросили нас высадить у метро. Отец Марка вышел из машины и галантно открыл дверцу Марии. Я пожал ему руку и, как когда-то Марк, коснулся его щеки. Мария это сделала тоже, но, безусловно, красивее. Какое-то время мы с Марией преиhrались, но за нас реш все тот же рыжий портфель, в нем оставалась ветчина и водка. Мы решили ехать ко мне.

Подумать только, день еще только начинался! Я усадил

Марию в кресло. Под ноги бросил старый пиджак, чтобы она могла сбросить туфли. Я поставил на газ чайник и вымыл чашки. Мне казалось, что Мария очень устала, должна была устать. Но я не допускал и мысли, что у Марии может быть горе. Нет, наше поколение такого допущения лишено. Отсутствует альтернатива: счастье.

- Олий Косифович тебя не любит,- сказала Мария.- Он тебя считает, извини, причиной всех колобродств Марка.

- Это новость. Я не знал... Вышел поцелуй Иуды.

- Ты имеешь в виду у машины? ...Налей, но немного. А он не прав? Знаешь, почему я так в аэропорту рассопливилась? Поэтому. Марк хотел тебя забыть. Но разве мог! Когда мы с ним познакомились, он в первые вечера мог говорить только о тебе. Я никогда не встречала мужчин, которые говорили о другом с поклонением. Нет ни одного поступка, который бы он совершил без оглядки на тебя. Знаешь, что восхищало его в тебе?- готовность идти до конца. В каждой твоей истории он верил, что ты сделал все, что мог, все, что вообще можно сделать. Иногда говорят, если на том месте был бы другой человек, все могло бы случиться иначе. Он считал, что если у тебя не получилось, то у любого другого могло получиться только хуже. Я говорю тебе все это, потому что Марка ты не любишь. Чувствую, что не любишь. Он остерегался тебя- это верно, потому что не хотел повторений, а бессмысленные жертвы не признавал...

/Мария, Мария, Мария, я опасаясь, что ты уйдешь прежде, чем я сумею в ответ что-либо сказать. Я заморожен собственным любопытством,- и потому, что у тебя новое лицо, и потому, что удерживаю неуместный смех: ты возвращаешь мне мои обвинения Марку, и само слово "повторение" произносишь словно по знаку нашего общего суфлера. И предположение: по аэродромному полю я ходил с твоим выражением лица-судьи, обвиняющего не только от знания своей правоты, но и из отчаяния,- будоражит меня, как тайна, более значимая, чем все, что придает нам осмысленную уверенность/.

- А я, что ж, Клитемнестра мужского пола! - глупо восклицаю. Но может быть этот экскурс в историю не настолько глуп, как кажется, хотя бы потому, что мне нужна передышка. - Но говори, говори. Ты говоришь для меня совершенно неожиданное.

- Мне всегда казалось, что вы плохо понимаете друг друга, чего-то не договариваете между собой. Если бы я не любила Марка, а потом тебя...

- Если бы сперва Марк, а потом я не любила тебя...

- Мне это мешало. Вы с Марком ужасные люди. Мне не объяснить. Ужасные, потому что хорошие. Но Марк лучше тебя. Однажды он меня ударил. За тебя. Незадолго до твоего освобождения мы были в компании. Он, я тебе уже говорила, в это время очень нервничал. Как раз в последний год он сделал в науке колоссальные успехи. Марк был в ударе, острился удивительно удачно. Кинозвезды - там все были артисты - не могли поделить его между собой. Наверно, я ревновала. Я попросила его подойти ко мне. Он подошел. Я попросила нагнуться ко мне. Он наклонился. Я сказала ему: "Где твой брат, Марк?"...

И оглушен.

- Неужели Марк действительно ожидал, что я предъявлю ему какие-либо счета?

- Вы действительно ужасные люди. Я сказала тебе, что Марк меня ударил. Но тебе важнее узнать, что думал он о тебе. Я оказалась между вами - нет, не в глупом, и в положении не лишнего человека и даже не случайного, но, в общем, в положении человека, у которого ничего не спрашивают. Я видела, что между вами разыгрывается драма. Началась до меня и после меня продолжалась. Я не хочу сказать, что вы пренебрегали мной. Как женщиной, допустим... Впрочем, речь не обо мне. Я живу. Неужели ты не чувствуешь, что вам невозможно было больше оставаться вместе. Неужели, Дмитрий, ты не понял, что Марк сбежал от вашей дружбы. Иначе вся жизнь его будет искалечена. Он ведь бросил все. А ему было что терять. Неужели ты не чувствуешь ненормальность того, как я говорю о вас.

- Мария... Поверь, я сам постоянно чувствовал какое-то наваждение. Признаюсь, на аэродроме у меня было гадкое ощущение, будто я толкаю Марку, толкаю в пропасть. Но успокойся. Поверь, — и я, и Марк никогда не позволили сказать о тебе что-нибудь унижающее. Даже смешно, что такое можно представить. И не прибавляю: твое имя было окружено нами культом... Почему ты стала возиться с этими подонками. В лагере про таких говорят: "они ходят на цырлах". Из них можно сделать все, что угодно. Они ставят только на выигранные деньги, но никогда не ставят капитал...

- Ты считаешь, моя ставка- жизнь? Представляю, что будет с ними, если я им перескажу твои слова. Я их жалею. Я им нужна. У каждого из них — я — новый "период". Как у Пикассо. Я знаю их слабости. Какая-нибудь подлая история в Союзе Художников или заметка в газете их уничтожает. Они как дети. Кажется, что циники, но их можно ранить таким пустяком, на который бы ни вы, ни я не обратили бы внимания. Может быть мне удастся им помогать, потому что я знала вас с Марком.

Мария улыбается. Я чертовски рад. Я бегу на кухню снять с газа чайник лишь для того, чтобы не показать свою радость. Наш разговор слишком неожиданен для меня. Я догадался, кто наш суфлер. Я не сомневаюсь в том, что Марк летит, чтобы проверить еще одну возможность.

-...Когда я вернулся из лагеря, Марк посчитал меня за святого. Влоск голодных глаз он принял за энтузиазм не от мира сего. Но моя плоть, как заготовленное для сжигания полено, воскресла. Я цвел со всеми нелепостями настоящего обалдения, хотя мне казалось в начале, что лучше всего сдохнуть. Это было неприлично, — вот почему мне не достало честности развеять заблуждения на мой счет и Марка и других. Что я мог им сказать, ожидавшим от меня анафем профессионального страдальца! Но я переменял профессию. Разве это не было видно?! Впрочем, что я тебе про это рассказываю, ты была уже со мной. Фантастическая ночь! Я до сих пор не могу понять, как все произошло. Ты права, мы с Марком плохо слушали друг друга. Я замечал, что он был в

плени собственных представлений на мой счет. И ты любила не меня, а его миф обо мне... Я выкорабкивался. Не знаю, может ли это кого-либо изменить. Здесь тебе кое-что я не скажу...

- Можешь не говорить. Нет, Марк лучше тебя!

Пропускаю сравнение, пробормотав что-то вроде: "это я и пытаюсь доказать."

- Неужели ты думаешь, что меня можно подарить!

Я вижу, как Мария поражена своими собственными словами. Она допустила такую возможность и не совсем понимает что из ее предположения следует. Я вспомнил, не без улыбки "структуру капустного качана" и слушаю шлагер: во дворе студент включил проигрыватель.

Ничего не изменилось. Мария сложила руки на коленях. Между прекрасными пальцами дымит сигарета. Я отправляюсь к телефону. Звонят приятели Марии. Говорю им, что с Марией все в порядке, она позвонит им, как только решит один вопрос. Мои слова вызывают удивление. "Наберитесь терпения!" - и вешаю трубку: что может быть яснее! Мы опять сидим друг против друга. Смотрю ей в глаза и качаю головой. Я беру ее руку и качаю головой. Я хочу ей сказать - нет: ее печали, ее усталости, ее грустному преображению.

- Я не ожидала, - наконец произносит она, - что потеряю в этот день так много. - Мария стала собираться.

- Я не ожидал, что потеряю в этот день так много, - повторяю я... - Ты не хочешь, чтобы я тебя проводил?

- Отчего же! Ты сможешь мне уйти.

- Это совсем не обязательно.

- Ты считаешь, что Марк должен был уехать?

Я киваю головой.

Мы вышли на улицу; это был все тот же длинный день. Я беру Марию под руку с намерением сказать, что я, кажется впервые в жизни выговорился до конца. Я совершенно пуст. Рука Марии бесплотна. Мне кажется, мы избегаем смотреть на небо. Резинка, которую натягивает улетающий лайнер, когда-нибудь лопнет раз и навсегда. Еще задолго до того, как это случится, она ударит там и здесь. История - кошмар, - подтвердить этот вывод можно не прибегая к языку цифр. Однако

нет другой точки отсчета, которая бы позволила связать нас с
Марию, Марка, меня. Страна должна быть изменена, - я знаю,
как называется наше безумство.

1974-77гг.